

В островном государстве «К»

В ноябре, в островном государстве «К»
межсезонье, скука, токай, тоска.
рассветает редко, темнеет наверняка
и рано.

Он читает «новости ЮБК»,
а она — у окна считает бакланов.
Не досчитывается одного
и, отхлебывая вино,
говорит ему: больше так не могу,
я отсюда уеду.
в Благовое, Китеж или Сказань,
да плевать... в любую Дряньятаракань.
Он — ей:
— нефть опять дорожает, глянть! —
и (зевая):
— ничего пока
не планируй на среду.

А она мигреневый трет висок,
видит: море сушу глодает наискосок,
ей подмигивает и — скок —
забирает качели,
палисадника с розами жирный кус,
изможденной сирени дрожащий куст.
Он (из кухни) — ей:
— почему ты опять не убрала тефтели?
— тефтели, —
поправляет его машинально,
море заходит в спальню,
она:
— я тебя ждала.
я уже не боюсь.

Он (вдыхая):
— да уж, здесь в межсезонный шторм

понимаю, милая, черт-те что:
ветер воев, дохлая рыба, грязь,
гаснет свет и никакая связь.
вот отстроим домик на ЮБК,
заведем собаку, насадим вишен.
запишись на фитнес, на арт пока.

А она (уплывая) ему:
— ага.

Он уже не слышит.



похерив глупые приметы
и заморочки в жизни личной,
на убывающее лето
пойти «под мальчика» постричься,

и вечером, снимая блузку,
увидеть в зазеркалье тусклом
на шее белую полоску...
она — реки иссякшей русло.

здесь раньше волны были, вольно —
ладоней-лодочек скольжение,
взмах птичьих крыльев треугольный
и света — головокружение.

жаль... реки все — неуберёги.
и остаются только русла,
белей, чем зимние дороги
на убывающие чувства.



Здесь женщина немного подшофе —
Не взгляд, но астр увядшие букеты,
И чайкой отлетает сигарета
от губ ее
Изрядно подшофе.
Что женщине печальной подарить?
Не эти ж снулые, как рыбы, январи,
Не эти ж под сваровски фонари,
Что пристани обшаривают рьяно,
Не мудозвонство ж зеркалец карманных,
с которыми о чем ни говори —
всех краше и милей...

но не елей — китайский клей сочится с лиц румяных.
Я женщине, наверно, подарю
Не январю, но бег по январю,
Все семь кругов, до колотья в боку,
Мерещится, бывает, на бегу
То Суздаль, то Венеция, то Рим,
И снега мелкое стекло дыхание сбивает.
А, может, проще... например, поездку в Крым?
Ну да... ведь мы уже в Крыму.
Прости.
Так часто я об этом забываю.
И женщина, что астр завядший куст,
Все шелестит, расплескивает грусть,
С досадой что-то ищет по карманам —
Ей надо прямо здесь, сейчас
Подкрасить губ разверзнутую рану...

Так, значит... все же — зеркальцем карманным?
И становлюсь я зеркальцем карманным.
Глядись и спрашивай.
Я больше не боюсь.



собака ослепшая видит: полдень
тягучий, медом июльским полный,
долина под игом буйного чабреца.
слепней изумруды на нервном ухе
кобылы.
в кобыльем распухшем брюхе
жеребчик проснулся —
ворочается.

собака видит: тропинка в горы,
в артрозных лапах не чуя боли,
бежит, на спину сыплется хвоя
горячая.
арык, заброшенное селенье,
татарского кладбища запустенье,
моление трав меж камней.
на камне — ящерица.

но — дальше,
выше,
быстрее бури,
грохочет сердце — шаманский бубен,
качнулись горы, и замер бубен.

с немислимой высоты
собака видит: меня в объятьях
твоих — не предать и не разъять их.

давай, увидим.
давай, прозреем —
и я,
и ты.



закончился подземный переход
... и вот спасает музыка
...и вот
у перехода девочка со скрипкой.
ей бабушкина шалька горяча,
как пасмурное небо на плечах,
а музыка сама бледна, больна,
в ней кашель ларингитный.
но все-таки спасает.
полутон
дождя оплакивает тусклые витрины.
и женщина,
задраенная наглухо пальто,
плывет куда-то мертвой субмариной,
но льется ульев свет и моря йод —
так музыка спасает и ее.
и женщина замрет у перехода.
а кто не замирал у перехода,
когда надрывно прошлое зовет?

но яркий свет сильней.
идешь,
идешь вперед
и к прошлому полнейшей глухотой
и слепотой
спасаешь музыку.

поправив шальку,
кланяется.
и, вытягивая шею,
звонко, как со сцены,
с заплеванных ступенек объявляет:
— Фриц Крейслер!



В больничный парк пошли на перекур.
Скурили по одной довольно быстро,
а по второй — неспешно. Для души.

Здесь в ноябре случается порой:
промозглый день, дойдя до середины,
споткнется, влажный серый упадет,
и май над ним расплескивает солнце,
и воздуха сквозное мельтешенье,
как в гомеопатической аптеке
люцерной, хвоей, миртом захлестнет.

Стоишь немного пьяный, краткий май
остановись мгновеньем называешь,
и вторит мыслям — страстно, горячо
котов больничных рыжая капелла.

Тут закричала санитарка Ира:
— Смотрите, прилетели!
Вдалеке
сухая туя распластала ветки
(давно пора бы мертвую спилить...
Когда канючит неумолчный ветер,
она скрипит — так жалостно, хоть плачь).
Но туи будто не было сейчас,
точней, от нижних веток до верхушки
ее сокрыла, облепила жизнь —
я первый раз увидела грачей,
воочию. Смотрела потрясенно
на толпище чернющее. И мне
рассказывала Ира:

— В нулевых,
кажись, в две тыщи пятом, февралем
такая стужа прилетела с моря,
что лебеди вмерзали в бухту. Мы
ломали лед у берега, спасали,
а вот с грачами было тяжелей —
пугливые ведь... в руки не давались,
сидели на деревьях, и когда
их стужа ледяная опалила,
они...

сама секунду помолчав,
сказала:

— Птицы падали на снег...
обрушивались как...
обугленные груши!

У меня вдруг за грудиной
расправилось грачиное крыло,
сверкнув на солнце нежным перцветьем,
и клюв грачиный, бледно-восковой,
медлительное сердце уколоч.

— Ира, вы..
Вы тоже любите Бориса Пастернака??

Ира покраснела:
— Кого?
Бориса??
Сплетничают все!
Завхоз наш новый,
он мужик приметный.
Красивый даже...
да опять —
женатик.



Заприметила — как на югах мороз,
Звери к людям подходят близко:
Пес, что скалился — тычет мне в руку нос,
Хоть целуй и за холку тискай.

Мы бок о бок идем, и земля скрипит
От бесснежья черна, застужена,
И по небу расплескивают фонари
Пусть не северное, но южное.

Вот и птица задела крылом озорно,
Низко-низко летя над аллеей.
Ей-то что...
Может, пахну печным теплом?
Может, спящим в амбарной тиши зерном?
Или просто меня жалеют?



На заброшенной даче, где с музой гостишь,
под портвейн и картошку на сале
ударована библиотечная тишь.
Впрочем, это уже написали.

Пахнет сыростью слезной прогнивший матрац,
но сквозняк рано утром свежее,

и у музы — в стекле затуманенных глаз —
кареглазых стрекоз мельтешенье.

И покуда жильё зарастает быльем,
то пыльцой укрываясь, то пылью,
я молчу о своем, ты молчишь о своем...
Так о чем мы с тобой говорили?

Не привить мандельштамовку к слову эпох:
мелки завязи душ одичавших.
Снова муза роняет болезненный вздох,
и, присев на раздолбанный ящик,

замолчишь,
чтоб сглотнув сладковатую грусть,
ощутить, как сиротство — с блаженством:
вырождение сада, вырождение муз
и земное свое
вырожденство.



это Врубель повсюду малюет сирень —
осыпается ночью на землю, как дождь,
и творит, и кудесит повсюду сирень
на холсте наших будней, что неба серей.

эта боль его белым, индиго вокруг
разверзается искрами, брызжет росой,
будто рай на земле.
он персидский,
рязанский?
какой? да и незачем знать.
пусть сиреней-архангелов строй
вдоль заборов меня на работу ведет.

затеснится в груди, разрывается до позвонков —
жизни, смерти сладчайшему отзвуку не прекословь.
может, снова любовь?
да, конечно, она. что ж еще?

это Врубель беличьи кисти полощет —
гремит водосток,
разбухает под солнцем сирень,
разрывается до позвонков.

